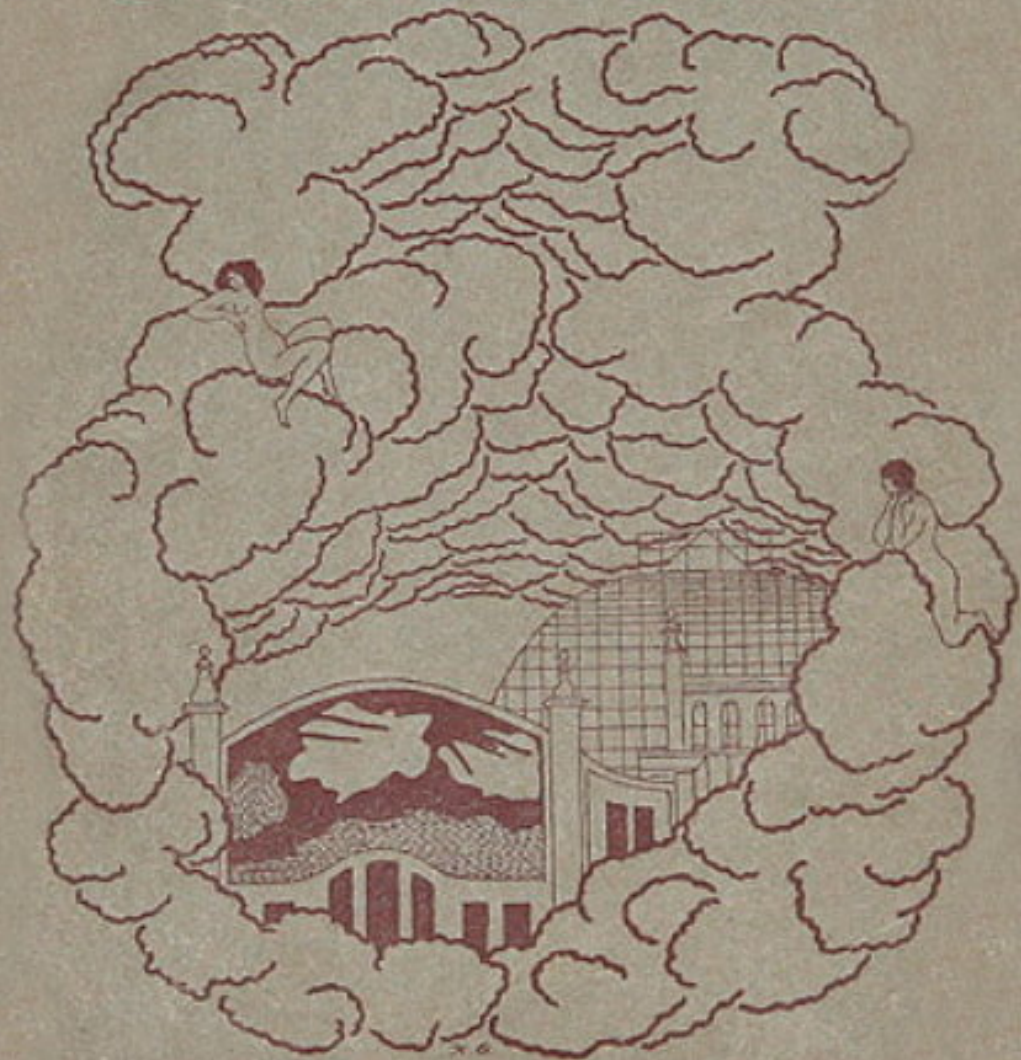


МАТЮШКА
ОБЛАКА



КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО СКОРПИОНЪ

Scriptorium



**Жагадис
(А. Бачинский)**

ОБЛАКА

Поэма

Salamandra P.V.V.

Жагадис (Бачинский А. И.)

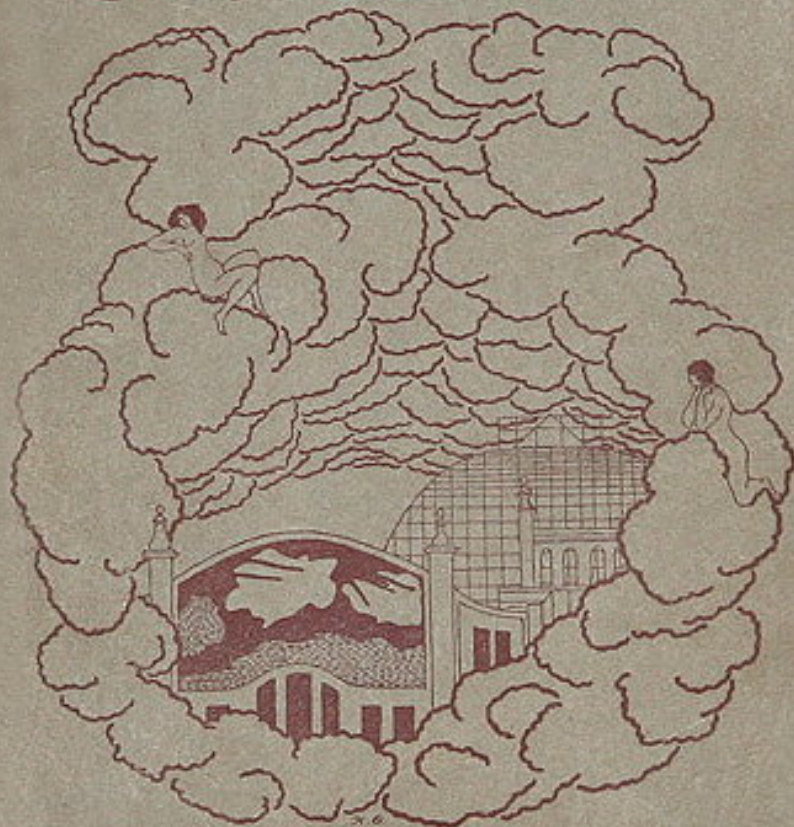
Облака: Поэма. Подг. текста и прим. А. Шермана. – Б. м.: Salamandra P.V.V., 2017. – 55 с. – (Scriptorium).

Поэма в прозе «Облака» – единственная художественная книга известного физика А. И. Бачинского (1877-1944), близкого в свое время к символистам, московская фантазмагория, напоминающая «симфонии» А. Белого.

© Author, estate, 2017

© Salamandra P.V.V., подг. текста, прим., оформление, 2017

МАТЮШЕ
ОБЛАКА



КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО СКОРПИОНЪ

ОБЛАКА

Поэма

Я ищю страданий и вечности,
Добровольных оков,
Звезд бесконечности,
Правды лживых снов.

Мне родина там, где гаснет лазурь,
Где шепча сгущаются тени,
Где безоблачно спокойствие бурь,
Где нет состраданья, где нет сожалений.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

...Тогда древняя владычица Ночь вступает в свои права, и все, что боится губительных стрел Аполлона-Аполлиона — все, что хрупко и нежно, и распутно и бесстыдно — смелее подымает чело. Тогда разлагающийся порок не стыдится обнажать гнойные язвы; и песни соловья нежным трепетом волнуют сердца влюбленных; тогда рождаются юные плоды творческого вдохновения; и планы убийств и насильств и дерзких попок на земле, обогренив кровью детей и омоченной слезами дев, лишенных чести, зачинаются в преступной душе. Тогда молодая любовь впервые и несмело решается мечтать о своем увенчании; и опьяненная вином блудница дерзко увлекает прохожего на ложе, запятнанное пороком; и лилии сильнее благоухают. Тогда Бог и поэт созерцают себя.

II

...Пришел (Ищущий) к Увенчанному и сказал:
— Знать хочу я. Что делать мне? скажи, о Увенчанный!

Сказал Увенчанный:

— Смотри — и познаешь. Не телесными очами смотри — но умом; ибо сказал мудрец: ум видит, и ум слышит, прочее же все глухо и слепо. Когда солнце зайдет, и молчание воцарится кругом, тогда,

оставаясь наедине с Ночью, старайся поднять веки ума своего; тогда впервые приучайся умственным взором обнимать сущее. Скоро постигнешь ты начатки истины. Откроется тебе, что не вне, но внутри лежит она; и ты почувствуешь себя многоочитым, как хрустальная сфера ночных небес, и смотрящим внутрь себя, как она. Ты почувствуешь себя великим, как она, и совершенным, как она; как она, всеобъемлющим; как она, вечным, и как она, единственным. Ты ощутишь себя все ведущим, ибо все, что только ты можешь представить в себе, тем самым есть часть тебя; и везде сущим: ибо всякое место, которое ты представляешь себе, есть в тебе: ты пространнее, нежели везде! и всемогущим — ибо действительно таков ты, сын сомнения! созерцай лишь; шире, шире раскрывай глаза! и ты уверишься в этом. И тогда приобретешь ты над миром ту власть, какая свойственна творцу в отношении твари; ибо ты сознаешь, что причастие мысли твоей есть источник всякого бытия — источник единый, единственный; что нет иной силы, дарящей Жизнь, погружающей в лоно Смерти — кроме стремления мысли твоей. Окруженный шумной толпой, отворишь ты от нее духовный взор — и без следа развеется образ ее, как рассеиваются смутные видения сна при пении вестника утра. Помаванием очей будешь ты, всемогущий, убивать неудобное тебе: змея, изрыгающего яд и пламень, чтобы уничтожить тело твое, и блудницу, распространяющую ложе, чтобы увлечь тебя, и лжепророка, носящего темные одежды, проповедующего ложь, дабы сбить тебя с пути, и мудреца, постигшего десять слов истины и сорок предписаний добродетели, язык которого движется кверху и книзу, дабы помянуть смысл твой! Они падут, растекутся в ничто, как вздох умирающего в ледяном уединении. И будешь творить удобное тебе: жен и дев, прекрасных, как ро-

зовое сияние утренней зари, встающей над Ионическим морем, и нежных, как лунный свет в манговом лесу; поющих гармонически в хороводах, услаждающих жизнь; и мужей царственного вида, высоких духом, искусных в метании копья, и в управлении колесницей, и в пении стройных гимнов, и в размышлениях о небе, о земле и о силе, создающей землю и пространное небо; и поэта, имеющего образ твой и подобие, творящего мир, как ты творишь его, и в этом мире — новые творческие силы: непрерывная цепь Рождений, бесконечный, безбрежный Поток жизни, движения, — и начало этого Потока — Ты! Вот каковым можешь ты быть. —

Сомкнул уста Увенчанный.

III

После того Ищущий стал размышлять о мире и находил, что тот, кого называл он Увенчанным, был прав. Мир становился для него, как представление великой театральной пьесы в тысяче актов, действующие лица которой — силы жизни; драматургом же, директором театра, публикой и единственным актером был он сам. Представление обладало высочайшим единством действия, ибо все нити содержания и исполнения пьесы сходились в одной и единственной Личности, как нити, сотканые мистическим Пауком, которые имеют в нем свое происхождение, которые образуют основу его жизни, которые ведут из него и в него. О единствах же времени и места не могло быть и

мысли, ибо пьеса писалась и разыгрывалась вне места и вне времени. Место и время были в ней лишь незначительными бутафорскими принадлежностями.

Итак, он был у Мира; но и Мир был у него; Мир был по отношению к нему; Мир был он сам. Он впитал в себя Мир, как губка впитывает воду. Он был истинным творцом Мира. Каким свободным, каким могущественным ощутил он себя тогда! Он уже не был Ищущий; он был Нашедший, он был Увенчанный, он был *Deus sive Natura**. Он созерцал себя; и созерцание было творением. Итак, он сочетал в себе объект, субъект и тот ум, который родил идею субъекта и идею объекта: он был троичен, он был совершен; он был как Прямоугольный Треугольник, имеющий Катет и Гипотенузу и Катет, у которого квадрат гипотенузы есть идеизирующий ум, и квадрат катета есть идея субъекта, и квадрат катета есть идея объекта; две же последние, взятые вместе, суть идеизирующий ум. Он был таковым, как выразил древний автор Таиттирия Упанишад**, восклицающий:

«Я — ядомое! я — ядомое! я — ядомое!»

«Я — ядуший! я — ядуший! я — ядуший!»

«Я — поэт! я — поэт! я — поэт!»

Это совершенное знание, обретенное Ищущим, дало ему столь же совершенный нравственный Покой: ибо, сознавая свое тождество с Всеединым Естеством, он не мог уже задаваться вопросом: благо ли то, что я делаю? Все дела его были благи, были столь же совершенны, как он сам.

* «Бог или Природа» (*лат.*). Изречение Б. Спинозы (1632-1677), часть доказательства того, что в мироздании существует единственно Божественная субстанция (*Здесь и далее прим. ред.*).

** Имеется в виду ведический текст «Тайтиррия-Упанишада», одна из наиболее древних Упанишад.

И он смотрел — уже не как ожидающий, но как просветленный.

IV

Воздух был невыносимо душен, точно пылал, и голова кружилась, заражаясь тем же пылом. Стояла загадочная тишина, чреватая бурями; лишь отдаленный, питающий подозрения, грохот доносился сквозь неподвижность эфира. Но далеко и высоко уже чувлось смятение: неслись разорванные тучи, и крутились странные облака, точно клочки одежд, которые в судорогах срывает с себя опьяненное Небо, повинуюсь восторгу и страсти. А внизу под ним Земля дышала тяжело, юная и страстная, жаждущая бездонных объятий пылкого супруга. И все заражалось тем же пылом: люди беспокойно искали, с кем бы слиться в лихорадке влажных объятий; пытливо заглядывали в лица друг другу, встречаясь, и губы как будто шептали: «Ты хочешь принадлежать мне, не так ли?», а глаза, покрытые влагой и блестящие, проникали сквозь одежды, повинуюсь необорному притяжению, размытая тайники, скрывающие Половинчатость, которой молчание более красноречиво, чем сам Демосфен. Слабее и слабее ощущались узы, надетые обыденщиной... И вдруг налетел ветер, срывая шляпы, развеивая платья женщин, открывая их икры жадным взорам... Пыльные вихри неслись, кружась... Руки уже обвивались кругом талий, не зная препон... Разгоралась вакханалия, какой не может создать ничто, кроме безбрежно-

го фантастического могущества Личности.

V

Ночной дождь барабанил по плитам тротуаров и по крышам, горячий, точно в нем было семя небесного огня, а Земля, дрожа под ударами грома, то будто извивалась, вызывая новые огненные ласки, то замирала, словно не желая дать пролиться ни одной капле золотой, священной влаги. И Личность исполнялась буйного, творческого веселья: ей были видимы бесчисленные четы, страстные и нежные, которые то затихали в истоме, то с жадностью вкушали и возвращали мощные любовные удары, наслаждаясь ритмом немолчных ласк, целовали, кусая, и кричали от боли и наслаждения. И Венчанный все вновь и вновь вдохновлялся волнами восторга всемирной веселости; бушующая, вздымалось в нем желание унизиться и умалиться, чтобы самому взять долю в безудержном воспламенении Двойственного. Все ближе и ближе он делался к тому, чтобы пожертвовать активностью ради пассивности, забыть на время свою власть над миром и помнить, сознавать лишь сладость объятий женского тела: таинственным инкогнито войти в толпу, предающуюся вакхизму, разыгрывающую оргии сочетания. На этом сосредоточилась его мысль.

Громы стихали, удалялись; лишь вдалеке небо еще бороздилось бледными молниями.

VI

Пустой воздух был напоен шепотом ночи и переставшего дождя. Светили фонари; и от них подымался розовый дым, похожий на вздохи, обращенные к небу. Мостовые и тротуары были покрыты лужами; но проникновенная душа могла видеть в них безлицую черноту Ночи и судорожно искаженный бег созвездий, и содрогалась пред раскрывающейся у самых ног черною беспредельностью. Непосвященные же беззаботно шлепали калошами по беспредельности, и она не поглощала их, потому что они были слишком легковесны.

В числе непосвященных были две женщины. Весело стрекотали они о пустяках, не церемонясь, и взглядами задевали прохожих. Икры и ступни их ног и кисти рук были обтянуты кожей убитых животных; одежды шуршали, заглушая шорох переставшего дождя; они были высоки и стройны, у них были широкие круглые бедра и прямые, длинные ноги.

Они шли впереди Борисоглебского, и сердце Борисоглебского вдруг упало в бездонную тьму. Он задышался и, задыхаясь, спросил: «Можно вас пригласить поужинать вместе?»

VII

На обширной площади стоял грандиозный пьедестал, и четыре огромных орла, ширясь победными кры-

льями, поддерживали его с четырех сторон.

К пьедесталу была приставлена лестница: точно приглашали достойного занять изготовленное место, — того, кому бы служили, как владыке, победные орлы.

Толпа сновала кругом. Но не находилось никого, кто взошел бы туда. Кругом были одни ничтожные людишки.

Да и пьедестал — по ближайшем рассмотрении — оказывался не мраморным, не гранитным, а деревянным. И величавые орлы были выпилены из старых досок.

Одна лестница никого не обманывала. А ничтожные людишки сновали кругом; неистовый гогот и гомон уносился в небеса, и ангелы затыкали себе уши, страдая от вечной какофонии.

Борисоглебский был не в духе после вчерашнего и дразнил себя, измышляя гадкие небывлицы. А если бы это было: можно ли было бы жить?

VIII

На мосту грохотали возы ломовых и коночные вагоны, надрывались лошади и люди, и громкая брань висла на фонарных столбах, а внизу, у подножия мостовых быков, — там, где медленные струйки, журча, двоились у зеленых камней, жил безмятежный островок, на который никогда не ступала нога человека.

Каждую весну приносились с полою водою ил и песок, и маленький островок рос вширь и ввысь: и раз-

расталось его мирное население.

Здесь рос и цвел подсолнечник; рдест выпускал свой ползучий стебель; белоснежные цветы кувшинки качались на длинных, изогнутых шейках; и частуха, стрелолист и лютик смотрелись в журчащую зеркальность.

Правее расстилалось водное зеркало. На нем стояла лодочка, точно заснув, и в ней сидел рыбак и держал удочку в руке. А под лодочкой была другая такая же, и в ней такой же рыбак с такой же удочкой, под другим и таинственно далеким небом, утопавшим в зеркальной глубине. Оба были как близнецы. Оба смотрели в одну и ту же точку.

Проходил Борисоглебский по мосту; смотря вниз, как родным и близким улыбался безмятежному островку, запоздалым цветам подсолнечника и небесам, синевшим глубоко внизу. Мысленно называл их своими. Точно там была его родина; точно был лживым сном шумный город, который держал его в кабале и выматывал из него силы.

IX

Время шло. Вода утекала, и наконец застыла ледяным покровом.

Там, где Остоженка подымалась в гору, и в нее впадал Ильинский переулок, стоял дом Муравьева. На крыше была балюстрада, а под окнами высился бруствер, служивший тротуаром.

Неизвестно, почему на Остоженке тротуар взобрался на два аршина выше улицы. Иные говорили, что управа просмотрела, а иные — что это был прообраз Порт-Артура.

Если это было так, то прообразование, разумеется, оправдалось.

Шел старый профессор микрографии по тротуарному брустверу; бросал кругом огненные взоры, потрясал седенькой бородкой; придумывал, какой бы пасквиль еще написать про своего товарища. Уже ославил он его подлецом и невеждой, в брошюрке, напечатанной в типографии Кушнера; это был донос учащейся молодежи. Но никто не называл бесчестным старого микрографа, потому что он все-таки не принимал участия в «Гражданине» и громко ругал «Московские ведомости»*.

В свое время был он кумиром тогдашней либеральной и материалистической молодежи. Но либерально-материалистическая молодежь перевелась на Руси, и брошюрку некому было покупать. Напрасно тоненькая и беленькая штучка навязывалась проходящим, лежа в окнах грязной и пыльной Карбасниковской лавки, кокетливо приоткрывая свои странички.

В свое время сделал старый профессор открытие, которое, впрочем, уже было закрыто молодым ученым; очень рассердился старый микрограф, но не перестал печатать в ежемесячных журналах хвалебные статьи себе, с подписью и без подписи, не перестал ездить в чужие края читать лекции о своем открытии. Вот недавно вернулся он с острова Цейлона, где читал лек-

* Черносотенные и шовинистические газеты, занимавшие крайне правые позиции.

цию пленным бурам с генералом Кронье* во главе.

Пленные буры вздыхали, почесывали бороды, потирали раненые места, думали о своих женах и детях. Но больше им нечего было и делать, потому что старый профессор читал свою лекцию на русском языке, за незнанием иностранных.

Обо всем этом передумал старый ученый, идя по бруствероподобному тротуару; и вдруг поскользнулся на льду и упал... Ударился головой о тумбу... И уже не думал он ни о своем сопернике, ни о генерале Кронье. Никогда он не подумает уже и о своем открытии.

А мимо проезжал человек на извозчике и держал в руках большое зеркало... И в зеркале танцевали дома, грязный снег, покрывающий Остоженку, прохожие и проезжие... Зеркало было умное и над всем одинаково смеялось.

Все было кончено... Только струйки крови стекали по тумбе, медленно окрашивая снег, да два-три седых волоска пристали к камню. Тело старого микрографа скатилось с бруствера вниз на улицу. И ни одного студента не было кругом.

Только две курсистки старых времен прибежали на место ужасного происшествия; они сохранялись поблизости, в Дашковском музее**, под ярлыком и за нумером; и им едва удалось упросить швейцара отпустить их до вечера.

Беспомощно хлопотали они вокруг бездыханного профессора, потрясая седеющими стриженными волосиками. Возмущались халатностью управы и полиции.

* Пит Арнольд Кронье (1836-1911) – бургундский политик и военачальник; в плену содержался, однако, на о-ве Св. Елены.

** В описываемое время часть Румянцевского музея с этнографическими коллекциями русских путешественников.

Но все обошлось без них... И имя старого ученого кануло в Лету.

Х

И между тем на самом-то деле все это было совсем не так! Вернее было бы сказать: Борисоглебскому казалось, что это так было. Однако и это было бы не совсем верно. Еще вернее: Я видел происшествие с микрографом. Пусть так будет; оставим.

Понятно, откуда этот комментарий. Борисоглебский впитал в себя Мир, съел, выпил его, переварил и ассимилировал. Мир в нем, у него, к нему.

И хоть Мир был переварен, все же происшествие с микрографом не сошло даром желудку Борисоглебского. Весь конец дня чувствовал он себя, словно проглотил муху.

Являлся вопрос: хорошо ли и приятно ли быть творцом Мира, в котором попадают микрографы? Большое ли удовольствие ощущать такого микрографа своей принадлежностью? И сам конец такого индивидуума может доставить лишь относительное удовлетворение.

Все эти и подобные вопросы и задачи висели словно ядра на ногах Борисоглебского... И душевное спокойствие его мало-помалу отравлялось.

ГЛАВА ВТОРАЯ

У ней была маленькая, грациозная фигурка, густые черные волосы, которые в виде агатовой арки нависали над подвижным лицом с двумя серыми блестящими змеями на нем, и маленькие твердые груди, похожие на опрокинутый небесный свод в миниатюре. Она красила розовой краской свои ногти, подводила глаза, покрывала губы тонким слоем кармина, а щеки — душистой пудрой, которая всегда после поцелуев оставалась на губах у Борисоглебского, и ему казалось, что его губы пересохли. Целовалась она порусалочьи, с раскрытым ртом, и губы ее были холодные — холодные! Право, эти поцелуи имели в себе что-то металлическое.

Но все это было уже потом! А теперь Борисоглебский увидел ее в первый раз: это было в вагончике подъемной машины, а кругом, на улице, внешняя оттепель была в полном разгаре, громко стучали капли воды и сердца людей, и вся природа таяла... а человеческие сердца — в особенности! Как же было не влюбиться в нее Борисоглебскому, который был так начитан в любовной литературе, и так жаждал поклоняться, и так стремился к скользкому, запретному, к познанию и к приключениям! Недаром он в течение зимы аккуратно слушал поэта Бальмонта всякий раз, когда тот выступал на эстраде с чтением, полным яда, разрушающего добродетель! Недаром его всегда влекло к себе настроение Ночи, и он населял ночной туман химерическими плодами воображения, которые, как змеи, поползали в эту пору откуда-то из тайников бессознательного и переворачивали вверх дном весь урегули-

рованный, мещански-приличный денной миропорядок. Здесь прошедшее смешивалось с настоящим, причины становились целями, Мир и Бытие делались Женщиной... и наконец, не хватало слов, чтобы уследить за вскрытием всех этих удивительных тайн. Но мотив Женственности всегда присутствовал; иногда он как будто таился, прятался, давая знать о себе лишь легким виолинным дрожанием — иногда покрывал собою все другие аккорды. — И вот наконец все было решено! Женственное воплотилось! Храм, где прежде обитала идея божества, получил теперь его роскошную статую!

II

НАСТРОЕНИЕ БОРИСОГЛЕБСКОГО

Смотри, моя мечта! какой приют роскошный
Здесь создал для тебя влюбленный чародей:
Плафоном — звездный свод таинственный, полнощный,
Колоннами — снопы полуденных лучей.

Сирень и лилии — покоев украшенье,
Фиалочный ковер — подножие для ног,
Росистая трава — сверкающий порог,
А длинный ряд завес — зефиров дуновенье.

Приди, волшебница красоты неизъяснимой!
Любовью для тебя воздвигнут этот храм.
Войди — и будешь в нем богиней досточтимой.

Здесь в честь твою горит огонь неугасимый:
С него поэзии прозрачный фимиам
Лазурной грезой струится к небесам.

Но эти настроения отлились завтра! сегодня он сидел и писал своей мечте такое письмо:

III

ПИСЬМО ПЕРВОЕ.

От Борисоглебского к Красоте

О несравненная Красота, Вы воспламенили мою любовь. На моем сердце лежит Ваша печать; приношу его Вам, как вещь, принадлежащую Вам. Пусть благоприятные звезды пошлют ему взгляд Ваших очей, хотя бы этот взгляд был равнодушен, как равнодушны лучи дневного светила, дарующие жизнь. Пусть оно покажется Вам алым цветком, выросшим близ пояса вечных снегов гор: ведь пока оно принадлежало себе, оно было гордо, как горные вершины. Вложите его в книгу Ваших дел и дней: оно не запятнает ее страниц малодушием, ибо оно было горячо, как кипучий ключ, бьющий у подошвы вулкана, и горестно, как душа рыцаря Печального Образа. Или поставьте его в хрустальный сосуд с прозрачной водой, поместите его на виду, на столе, за которым Вы сидите; а когда Вас спросят: «Откуда этот странный цветок, на котором вместо ка-

пель росы — капли крови?» скажите: «Он дан мне; эта кровь пролилась ради меня, потому что я достойна и прекрасна». И при этих словах струны Вашей души забьются сильнее и зазвучать возвышенной радостью о Вашем совершенстве; и Вы подумаете в душе своей: отчего бы мне не послать мое благоволение поэту, который принес мне цветок в жертву? и возьмете бумагу и перо, и напишете: «Рыцарь и поэт мой! Я была благосклонна к твоему гордому, горячему, горестному сердцу» и отдадите этот лист доброму волшебнику, покровительствующему мне...

Тут затруднился Борисоглебский тем, что писать дальше. Надо было обозначить свой адрес; а это не легко было сделать в согласии с общим тоном письма. Кое-как, уже без вдохновения, докончил он его; снес, опустил туда, куда опускают письма; стал ждать последствий. Хитрый человек был все-таки Борисоглебский: для большей верности дела он прямо продиктовал своей мечте план ее действий; все должно было пойти по писаному.

IV

ПИСЬМО ВТОРОЕ

От Красоты к Борисоглебскому

Рыцарь и поэт мой!

Я была благосклонна к твоему гордому, горячему,
горестному сердцу

.
.
.
.
.
.
.
.

V

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

От Борисоглебского к Красоте

О любимое мною солнце!

Пламенеющий покой — и застывшее движение;
младенец — и тысячелетний старик; падающий — и
восстающий; Все, без следа расплывающееся в пред-
вечном тумане — и ничтожный атом, хотящий соз-
дать новые небеса и новую землю; рысь, вьющая гнез-
до и лебедь, которого услада в кровожадности; то Ищу-
щий, то Увенчанный; то могущественный, то отвержен-
ный; воплощенный, перевоплотившийся; Артур, и Жоф-
руа, и *** сын **, и Пуран Сидир, и Jagadis, и ,
и тысячью других имен называющий себя; словом,
Некто странный, меняющийся, противоречивый и по-
добный ветру, который то взметает жгучие пески Ли-
вийской пустыни, то нашептывает песнь любви под ла-

зурным небом Ионических островов.

Вот кто я и что я. Я сказал, ибо Вы желали этого.

Знаете ли Вы меня? О да! потому что Вы слышали мой голос в воплях порвавшихся струн, и в аккорде умирающей луны, и в шелесте цветов яблони. Я бываю всюду, когда это позволяют созвездия.

Geoffroy.

VI

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

От того же к той же

Несравненная!

Неужели я вызвал Ваш гнев тем, что не последовал вашему призыву? молю, разрешите это убивающее сомнение.

В древности, кто желал быть посвященным в великие, возрождавшие к новой жизни таинства Великой Матери Богов, тот готовился к ним в течение ряда дней, питаясь скромной пищей, проводя ночи на земле и предаваясь созерцанию: ибо таинства эти были сладостны более чем в высочайшей мере; и внушаемый ими экстаз было бы не по силам перенести обыкновенной человеческой природе, не поднявшейся выше по лестнице усовершенствования.

Так и рыцарь, начертавший на своем щите имя дамы, не осмеливался предстать пред ней иначе, как

после приготовления себя бессонными ночами, и слаганием стихов, воспевающих ее красоту, и подвигами, совершенными в честь ее; и являясь на зов, он не был угнетаем своим недостойнством: потому что он приносил ей шкуру льва, или голову дракона, или являлся в сопровождении побежденного им великана, готового униженно служить Даме, благосклонностью которой рыцарь одержал над ним победу.

И ночи, проведенные без сна, озаренные любовной мечтой, и слова, восхваляющие Ваши совершенства — это уже изведено мною в честь Вас. Все же я не чувствую себя достойным видеть Вас. Если бы мог я совершить во славу Вашу труд, который бы возвысил меня в моих глазах! Тогда бы знал я, что при виде Вашего блеска у меня не онемееет язык, не подогнутся колени. О пусть же, молю, не гневит Вас мое бывшее слушание! Скажите: что делать мне?

Geoffroy.

VII

ПИСЬМО ПЯТОЕ

От того же к той же

Однажды рыцарь увидел Даму. Она была прекрасна, и сердце его воспламенилось любовью к ней, и он предстал пред ней и стал служить ей.

И Дама бросила на него взор благосклонности; тогда волны счастья поднялись в душе его, и он вырвал сердце из груди своей и поднес его, трепещущее и дымящееся, Даме, которую любил.

И Дама, тронутая преданностью, бросила ему цветок, приколотый на груди ее; и обратила к нему слово приветя, ласкающее слух. Но увы! Восторг земной страсти охватил его тогда; он забыл благочестивые обеты покорности и почтения, и бросил в сторону меч свой; потому что в нем пробудилась земная страсть. И он обнял Даму и целовал ее, подобно жаждущему путнику, увидевшему быстрый ток воды в знойной пустыне.

И Дама отвечала поцелуям его и объятиям его, потому что душа ее невольно поддалась влиянию пылкой и могущественной силы; но увы! рыцарь преступил долг свой, изменил обетам своим; и небо оставило его.

И Дама удалилась от него; удалилась прекрасная, изливающая свет, поселяющая божественную радость в сердцах; и рыцарь смотрел ей вслед.

И молчание было вокруг.

VIII

ПИСЬМО ШЕСТОЕ

От того же к той же

«... Вы прекрасны, как книга, автор которой — Бог; материал для которой дали возвышеннейшие силы природы; переплетом которой достойны быть лучшие

произведения вечного искусства; которая пространна, как небо, светла, как слава Великого Автора, глубока, как тайники внутреннего круга Ада; чтение которой питает алчущего, утомляет томление жаждущего, оторваться от которой нельзя ни человеку, ни ангелу...»

IX

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ

От Красоты к Борисоглебскому

«
.....
.....
..... »

X

ПИСЬМО ВОСЬМОЕ

От Борисоглебского к Красоте

«...Я хотел бы получить какой-нибудь предмет от Вас, небольшой (чтобы иметь его постоянно при себе)

и такой, который был в физической близости с Вами; который поэтому воспринял в себя частицу Вашего света и сам стал лучистым. Я сделаю себе из него фетиш: буду поклоняться ему, и предлагать благовоения, и молиться, чтобы я был угоден Даме, чтобы друзья мои были благословенны и враги мои были раздавлены.

О Вашем письме...

Я должен говорить о нем, и я не в силах. Если бы я был первобытен, как жаворонок, я стал бы повторять звонкую, восторженную мелодию маленького певца, лучше которой нет у него и лучше которой он не знает. Но я слишком чувствую свою слабость. Где следует петь дифирамб, с моих губ срываются убогие куплеты. Лучше будем молчать, сердце! Она не может не знать, какой восторг внушила она своим светлым порывом бедному рыцарю, уста которого молчаливы.

Алый цветок был героем субботнего вечера... И хрупкое тельце его наконец не выдержало жара любви, и он умер... По чем глубже погружался он в лоно смерти, тем сильнее и роскошнее распускалась его ароматная душа, и если бы то же было и с людьми, я бы хотел умереть».

XI

Тот, кто знал Борисоглебского за три года перед тем, мог бы счесть его теперь за другого человека. Столько перемен произошло в нем. Должно быть, они накапливались, подготовлялись давно; и вдруг пролилась капля, переполнившая чашу; маленькая нежная

птичка зацепила камушек, который в падении увлек другой, больший, который увлек третий, еще больший, который уже увлек камень, который увлек большой камень, который увлек груды камней, которые увлекли скалу, которая сверглась в долину грандиозным обвалом, неуклонная и следующая прямейшему пути.

Был и теперь, как раньше, один руководящий принцип. Этот принцип был Эстетическое; Борисоглебский служил уже не Самобожескому, а Красоте. И маленькая красавица с полированными ногтями была дочерью Красоты, ее олицетворением в эмпирическом мире.

Насколько ближе стал теперь для Борисоглебского эмпирический мир! Непрестанное служение Красоте имело сложный ритуал, где всякая пустяковина и миомлетность могла иметь очень большое положительное или отрицательное значение.

Так Борисоглебский перестал признавать калоши и зонт. «Представь себе влюбленного с зонтиком под мышкой, идущего на свидание»! — сказал он однажды тоном, не допускающим возражений, своему приятелю Козьмодемьянскому, пред которым доказывал антиэстетичность множества черт мещанского обряда. И приятель не возражал, сразу убедившись.

Так же многое другое. Борисоглебский перестал признавать все резиновое («кроме шин», говорил он); всякую клеенку; газеты с непромокаемым содержанием; абонементы разного рода; всевозможные бесплатные приложения; паноптикумы, галереи и музеи; публичные клозеты, посещение которых оплачивается; механические рестораны; граммофоны; журналы для самообразования; хоровое пение... словом, все прилизанно-нарочное, надуманно-заказное; все, что пахнет потом мещанского убожества и узкой полезности, и

чего в наши якобы демократические дни развелось на каждом шагу...

ХП

Со своими подведенными бровями, накрашенными кончиками пальцев, окруженная атмосферой своеобразной смеси разных хитрых духов, она казалась красавицей Востока, индийской баядерой... жила она в маленькой квартирке, в четвертом этаже шестиэтажного дома, куда вел лифт... И напротив ее окон росли душистые тополя, которые наполняли воздух живым благоуханием в веселые весенние дни.

Стояли весенние дни... Чередовались с весенними ночами, прекрасно-озаренными, ароматно-летучими... Зажигались и таяли зори... И ночь опускала и подымала вечный покров; и вот опустила; и он опустился, вечный и таинственный.

На углу шестиэтажного дома горел электрический фонарь; каждый раз с появлением Ночи зажигался он; нахально изливал свой красный свет в заснувший эфир. Это было образом порока и бесстыдства: точно кокотка подымала платье, соблазняя толстыми икрами и шелковыми чулками.

Белая высокая стена окружала стройные тополя... И вот на покрасневшую стену упала зеленая тень... Остановился человек, закутанный в плащ; закинув голову, стал смотреть в окна четвертого этажа.

Обрамленная головка появилась в окне четвертого этажа... А он смотрел... Потом две розы упали из окна... Их взял он.

Долго стоял и смотрел — и там смотрели... Наконец он увидел прощальный привет. Закрылось окно. В то же мгновение погас фонарь, и обмотанный в плащ исчез в воцарившейся тьме.

ХШ

Ариман говорит: О смертный и жалкий человек! Подобно потерявшемуся путнику, что бросается за блуждающим огоньком, ты устремляешься душой вслед очаровавшему твой ум видению. В бессонных ночах проводишь ты жгучие часы одиночества, и страдания, и тоскующей любви; и светлый день, наступая, не смягчает твоё томление, ибо все прекрасное, что заставляет звучать твои чувства, кажется тебе не более, как преломленным образом овладевшей тобою — и увы! недоступной мечты. О, не ищи ее, прекрати свои старания приблизиться к ней: они тщетны. Это не случится раньше, чем ты упадешь ниц, изнемогший в преследовании, сторевший подобно свече, колеблемой порывистым дыханием ветра. Призрак — вот что преследуешь ты; создание твоей фантазии, отражаясь во вне, обманчивой прелестью волнует твой жаждущий дух. Вспомни, как недавно, объятый судорожным порывом творчества, закреплял ты гордые слова о своем всемогуществе, о присущей тебе силе все создать и все разрушить, о едином и единственном бытии, которое есть Ты! И первым, что думал ты творить, не была ли женщина, прекрасная и подобная восходящей заре? Что же забыл ты намерение свое? Это оно, не более как оно осуществляется теперь пред душой твоей! Вот

откуда твоя скорбь, твоя жажда сочувствия, которой не суждено утолиться!

Пуран Сидир говорит: Отойди, дух лжи и уныния! не смертен я и не жалок, и не человек: ибо я подобен Богу, и превосхожу ангелов; и не к призраку, зародившемуся в мозгу моем, стремлюсь я; ибо это — Женщина, прекраснейшая, любимая мною, и Единственная — нет, не Единственная: потому что их две: сама Бессмертная Красота — и та, Которой я поклоняюсь

XIV

Уже ясно было Борисоглебскому, что он был обманут, или, лучше, обманул сам себя; что чем скорее разойдутся они, тем лучше для обоих; что всякая дальнейшая попытка поддержать прежние отношения будет подобна желанию, подогрев вчерашний суп, сделать его годным для еды.

Но ведь это было почти невозможно! В ней видел Борисоглебский все, за нее отдал он владычество над миром — и теперь оставить ее?.. уйти?.. Куда уйти? в мрак, в неизвестное, в область молчания??

И он усердно разогревал вчерашний суп; сопровождал ее в театры, на собрания, в отдельные кабинеты ресторанов. Дарил ей цветы; говорил высокопарные комплименты ее божественной красоте и уму; делал восхищенные глаза. Но это было поклонение идолу, который в глазах своего поклонника стал не более как выкрашенной глиняной статуэткой.

Но все это должно было кончиться! Не даром Борисоглебский окунулся в эмпирический мир! Эмпирический мир устроен так, что все в нем имеет начало и конец. В эмпирическом мире все состоит в порядке, все внесено в инвентарные книги; эмпирический мир есть царство мещанского благочиния; здесь все измерено, взвешено, определено, и поэтому-то в нем детерминистам не житье, а масленица. На этот раз эмпирический мир сам подрубал сук, на котором висел. Он сам разрывал узы, связывавшие с ним Борисоглебского.

Это было 21 мая... Он сопровождал ее на свадьбу одной из ее подруг... И она, опьяненная пенным, вдохновенным вином и своей красотой, шалила, смеялась; она шутила, звонко смеялась с толпой безусых юношей, которые завтра должны были сдавать переходный экзамен.

Вдруг она воскликнула: «В Петровский парк! Сейчас! В Петровский парк! Дон-Кихот!» (так она звала Борисоглебского). «Вы сейчас едете с нами в Петровский парк!»

Борисоглебский пожал плечами, но только внутри себя — горько улыбнулся, но внутри себя. Только готовность повиноваться выражалась его наружностью.

И вот подъехал Ноев ковчег, привезший их... И она, опьяненная пенным вином, кричала безусым юношам, одетым в форму: «Садитесь! Скорее! Все, все садитесь!»

Ноев ковчег тронулся... Сколько в нем было пар животных чистых, и сколько нечистых??

Достоверно одно: что и чистым животным и нечистым — всем здесь было, как сельдям в бочке. Это был настоящий эмпирический микрокосм.

Ночь уже спустилась; хаос, все уравнивающий, стирающий ценности, обезличивающий, претворяющий

в вечность — воцарился и вобрал в себя Ноев ковчег. Уже не было в нем животных чистых, не было и нечистых.

Но зрение Борисоглебского было затемнено, затуманено; он еще не освободился от призраков эмпирического мира. Он видел, слышал то, чего не было: цинические улыбки, бесстыдные прикосновения, неприкрытые похотливые речи... Не во сне ли это было?..

XV

Ноев ковчег грохотал по скверной московской мостовой, несмотря на резиновые шины; бесстыдный смех звенел в ушах... Было это во сне или наяву?

Все продолжалось в меняющейся обстановке... Но нет; затихал смех; занавес вещего молчания опускался. Подымалось покрывало Майи.

Было пространство, освещенное синеватым светом дуговых фонарей; смех замолкал. Было ли это наяву?

Уже юноши стали спрашивать друг у друга о числе недоученных билетов... О, эмпирический мир! Мститель ты, зол и мелок.

И волны злобного, гневного чувства вставали в душе Борисоглебского; заливали все... Ему хотелось холодной мести, чтобы отомстить за смех, поругание над мечтой.

Ночь улыбалась, вечная и бесстрастная.

Тогда он с своей дамой сел в Ноев ковчег. Мостовая грохотала под железными копытами лошадей... Во сне ли это было?

Во сне или наяву был он с ней в тесной комнатке, оклеенной грязными обоями... Комната звалась отдельным кабинетом; то и другое было не совсем верно. Вот опрокинулся бокал шампанского...

«Домой!» — сказала она. Все по ее словам. Вот лифт, вот вагончик — тот самый... Но необратимы процессы эмпирического мира!

Сейчас эта дверь закроется за ней. Он обнял ее, целовал, целовал... Довольно! сказала она. Поняла ли она, что поцелуи эти были злобны и объятия эти были мстительны? Но было ли это наяву? Не во сне ли?

И он удалился. Захлопнул дверь за ним швейцар Петр, получив свой регулярный четвертак. Он шел по сонной мостовой, сопровождаемый Ночью.

Пришел. Не пошел к себе; пошел в сад, сел на простую скамейку под кустом сирени, положил руки на стол, склонил голову; закрыл глаза. Было ли это во сне или наяву?

XVI

Вдруг раскаленный металл обжег его шею. Он поднялся; обернулся назад.

В небесах была змеевидная трещина, и сквозь нее глядел одинокий глаз утреннего солнца.

Небеса насыщались пожаром, и оглушительный грохот меди раздавался в эфире.

Уже давно не было ни Ночи, ни звезд.

И мечты ночной души рассеивались одна за другою.

ГЛАВА ТРЕТЯ

I

Купол Спасителя высылся во мгле загадочным богатырским призраком. Это Туман, приспешник и послушная собака Ночи, захватил в свои цепкие лапы все, что стояло и двигалось на земной поверхности: соборы, дома, улицы, бульвары, бездомных нищих и уличных женщин. Но это обнаружилось, как только взошло солнце; и под его ударами нехотя таял туман. Кругом разливался день, ясный и чарующе спокойный; далеко разносился петуший крик; отчетливо рисовались далекие тени, и глаз веселился, ловя контуры на недоступных расстояниях. И душа точно расширялась вместе с зреньем; обнимала все большее и большее; и расширение сопровождалось чувством успокоения, исчезновения, какое должен испытывать комок газообразной материи, когда он, вырвавшись из сферы притяжения светил, расплывается по бесконечным угольным мешкам пространства. Хотелось слышать крик отлетающих журавлей в высоком небе; но журавли не пролетали над большим и буйным городом, где вместо травяного покрова были камни, а деревья стояли серые, покрытые толстым слоем пыли. И уже пыль хитрым пресмыкающимся поднималась из-под ног проходящих, из под лошадиных копыт, из-под железных и резиновых шин; начавшись на улицах, мало-помалу проникала в переулки, пропускала свои щупальца внутрь домов и скоро овладела всем, что было в городе. Над горизонтом поднялась фиолетово-серая завеса, точно облачный занавес во время тайной перемены декораций. И город, закрывшись завесой со всех сторон, предавался опьянению дневной суетой, не ду-

мая о том, что воздух дивно спокоен и что солнечные лучи уже превращаются в золото и пурпур, проникая сквозь листву. А за городом в это время таинственное дуновение изредка набегало на камыши, окружавшие берег пруда, и камышовые головки, склоняясь друг к другу, загадочно шептали непонятные и вещие слова; и едва заметно рябилась зеркально-упругая и холодная водяная гладь.

Так Борисоглебский бродил по Москве и ее окрестностям, пропитываясь пылью и осенними настроениями.

Стояли осенние деньки.

II

Каждое утро в ящике, прибитом к дверям Борисоглебского, оказывался газетный лист, приносимый таинственным неизвестным. То же было и сегодня, и вот Борисоглебский держал пред собою испечатанный лист и читал...

На первой странице вдова коммерции советника приглашала родных и знакомых на панихиду. Потом какое-то общество предлагало страхование «от огня, жизни и от несчастных случаев». Потом возвещалось, что в такой-то день там-то госпожа Вяльцева прочтет лекцию «О достоинстве женщины». Потом объявлялось о цыганском концерте с участием госпожи Лухмановой. Потом навязывались папиросы «Мускат», рядом с двумя зубными врачами и двумя специалистами по венерическим болезням. Потом шло рассу-ж-

дение о сберегательных кассах. Потом были телеграммы с подзаголовком. Потом были телеграммы без подзаголовка. Потом...

Но тут Борисоглебский отвел глаза... взглянул в окно... и испечатанная простыня, шурша, упала на пол. За окном листовое золото кусками падало с дерева; медленно вращаясь в дремлющем воздухе, достигало земли — и земля блестела под лучами солнца, соперничая с куполом Спасителя.

Было ли тут до тогдашней газетной жвачки и обыденщины? Борисоглебский оставил зубных врачей лежать на полу в обществе сберегательных касс и цыганских романсов; выбежал скорее на улицу; пошел бродить по Москве, проникаясь пылью и осенними настроениями. И это продолжалось целый день.

III

В Петровском-Разумовском совершалось угасание пожегого осеннего дня. Света и тени блекли и смешивались, и только лиственная желть блестела сплошным однотонным фоном, и на нем рисовались резкие контуры черных стволов аллеи, скрещиваясь вверху, словно два ряда колонн готического собора. И все внизу напоено было таинственным благоговением: затихали пошлые речи, и ничтожные лица вдруг отражали на себе взор бесконечности, точно проникновенные времена воцарились на земле. Словно преддверие рая скрывалось за желтой завесой.

Но ад был ближе, чем рай, и давал себя чувствовать резче, чем можно было бы думать. Было обширное пространство, голое, с изредка лишь торчащими древесными стволами, с грязными, ломаными, изрезанными столиками и скамьями, сплошь усыпанное изорванными бумажными мешками, битой скорлупой, бутылочными осколками и всякой дрянью, какая наполняет собой мусорные ямы. За столиками сидели, шатались вокруг подозрительные фигуры, пестрые оборванные цыганки предлагали свои услуги по части предсказания судеб, гармоники скрежетали раздрачительно, пьяные голоса орали безобразные песни, и весь воздух кругом был полон дыханием человеческой гнили и мертвечины. Над всем местом нависло что-то вонючее, осклизлое, отвратительное. Казалось, что мертвецы, притворяющиеся недвижимыми и пассивными пред взорами живых людей, собирались сюда, чтобы праздновать дикий шабаш, удовлетворять низкие похоти, выступающие без всякого ограничения после таинственного момента смерти. Это мерзостное кладбище звалось почему-то «народным гуляньем». И отсюда убегала всякая живая душа, зажимая нос и придерживая кошелек.

А уже созвездие Девы бесшумно опустилось под горизонт, и облеченное им Солнце всходило для антиподов вешним светилом.

IV

На другой день сделалось удивительное небо. Бесшумные голубые поля сплошь покрылись нежными,

цветущими, снежно-белыми тысячелистниками. Что-то запредельное совершалось воочию. И у кого хватало досуга, чтобы посмотреть на небо в ту пору, тот изумлялся, останавливался с раскрытым ртом — внушая прохожим мысль, будто японский воздушный шар появился над древней столицей.

V

На обширной, унылой площади высился огромный дом с разноцветными балкончиками, с башенками, зубцами и бойницами наверху. Дом был велик и безобразен. Но фронтон его расписал безумной кистью гениальный художник: прекрасная Мелисанда, рассыпая золотые волны волос, склонялась к умирающему Жофруа в нежном порыве; а он улыбался предсмертной грезе, посылая последний вздох, вперяя взор обожания*. А из огромной трубы валил черный дым и чудовищной шапкой покрывал островерхие башенки, висел над зубцами и бойницами в сонном воздухе. И казалось, будто грозный враг взял высокий замок на неприступной скале: веселится долгожданной мезтью, тешится убийствами и пожаром, и теплыми струйками крови обагрятся немые камни. Или то прекрасная триполийская принцесса зажгла костер для отшедшего

* Здесь описана торжественно открывшаяся в год издания книги гостиница «Метрополь» и панно М. Врубеля «Принцесса Греза», созданное по мотивам одноименной пьесы Э. Ростана (в оригинале «La Princesse lointaine»), где действуют принцесса Мелисанда и аквитанский принц-трибадур Жофруа Рюдель.

друга, и мечется в бесполезных рыданиях, орошая жалобными слезами роскошь кудрей? Нет, ни пожара, ни кровей не было в высоком доме: были, может, слезы, да и те лились в тишине и неведомо. В четвертом этаже была декадентская редакция*; но и там все было тихо и мирно; Валерий Брюсов только что отошел от телефона, а за Андреем Белым захлопнулся автоматический замок, и скромной, немножко детской походкой двигался он по лестнице вниз.

Борисоглебский бродил по Москве; насыщался пылью и осенними настроениями.

VI

Огонек папиросы мерно вспыхивал, и тонкая струйка дыма капризными извивами уносилась и исчезала в вечерних сумерках. Борисоглебский сидел перед столовой лампой и строчил, думая, передумывая, вспоминая, спеша и волнуясь. А затылок его сливался с вечерними сумерками.

«Всякий совершенно непосредственно познает только одно существо — свою собственную волю в самосознании. Все же другое мы познаем лишь косвенно и судим о нем по аналогии с волей, и эту аналогию каждый из нас проводит тем дальше, чем глубже его мысль. Уже и это обстоятельство в своей глубочайшей основе вытекает из того, что, собственно говоря, есть только

* В одной из квартир, также имевшихся в «Метрополе», в 1900-х гг. размещалась редакция символистского журнала «Весы» и книгоизд-ва «Скорпион», выпустившего «Облака».

одно существо: иллюзия множественности (Майя), обусловленная формами внешнего, объективного восприятия, не могла найти себе доступа в глубину естественного сознания, и оттого последнее всегда знает только одно существо».

Сегодня утром вернулся он с афинского вечера, устроенного им при содействии двух сердобольных и снисходительных девиц, сердобольно подобранных им на тротуаре, сверкавшем красными огнями электрических фонарей. Но, конечно, этого не было, ибо есть только одно существо: откуда же было взяться троим?

В голове точно раздавался мерный шум работающей мельницы, и мерно, размеренно стекал с пера огневой мысленный ручей; рядами ложились искромечущие слова, испепеляя старые предрассудки; точно Некто мощный и грозный сек розгами глупых демонов, враждебных несвязанной оковами, ясной мысли, уничтожающей преграды, видящей недра земли и высь звездных сфер.

«И он подобен зрителю, созерцающему зрелище в зеркале и уединенному от всего».

Волнуясь, строчил Борисоглебский, озаренный лучами лампы, сливающейся с сумерками... и вдруг раздался стук... Как будто тяжелое упало, подчиняясь тяготению.

Уже Борисоглебский лежал на земле и бился в судорогах. Губы пенились и белели. Воздух хрипел.

Звезды зажигались одна за другой. Огненная полоса прорезала тьму, и железный кусок, заблудившийся предтеча Леонид, с треском ударился о землю, рассыпаясь на миллионы пылинок.

Что здесь начиналось? и что кончалось? и что было посредине?

Пятница приближалась к концу.

VII

Козьмодемьянский, приятель Борисоглебского, приходил к нему по субботам в семь часов вечера с аккуратностью часов или кредитора.

Временами они играли в шахматы. Иногда Борисоглебский воспроизводил Бетховена, а Козьмодемьянский в это время прогонял табачные кольца одни сквозь другие. Иногда сообща бранили отечественных литераторов и ученых. Иногда Борисоглебский возторгался, а Козьмодемьянский был слушателем и публикой. Иногда отправлялись в легкомысленное заведение Шарля Омона.

Козьмодемьянский был учитель арифметики. У него был зычный голос, ужасные вращающиеся глаза, моржовые усы и мочальная борода. Он походил на дьячка, а не на учителя арифметики, и потому ходил в форменной фуражке Министерства народного просвещения.

Был Козьмодемьянский в свое время оставлен при университете, но теперь называл себя «отставленным от университета». Бранил профессоров бездельниками и чинодралами.

По временам от него пахло спиртным. Он носил писчебумажное белье и обтрепанные внизу панталоны, злоупотреблял калошами, курил вонючие папиросы и занимался фотографией как любитель. А впрочем, он был неглуп и очень сведущ в своей части. Уже в немецких учебниках цитировались его работы. Вот и сегодня нес он Борисоглебскому свежий оттиск своей ученой статьи с надписью: «Дорогому другу Антону Антоновичу Борисоглебскому от автора».

VIII

Оттиск не был даже вынут из кармана, и через час Козьмодемьянский, выходя, уносил его с собой. Стало не до того.

Борисоглебский лежал раздетый в постели, когда к нему вошел приятель. Приветствовали друг друга. Мало говорили; Козьмодемьянский чувствовал себя растерянным, а Борисоглебский был каким-то чужим.

Поговорили; помолчали. Вдруг Борисоглебский, сотрясаясь, замолотил ногами по постели... Одеяло сползло, и ступни, скрючиваясь, молотили бестолково, необходимо и обидно, и хрип срывался с побелевших губ.

Это было зрелище горькое и обидное: точно грубая чернь сапожищами топтала драгоценную, золотощвейную ткань, раздирая ее, смешивая с грязью.

Козьмодемьянский ушел, не стал дожидаться паузы. Ему было жалко и грустно.

IX

Еще прошло несколько дней. Много изменилось с тех пор.

Осенние настроения осыпались с деревьев и, шурша, стаей летели по желтому песку бульвара, насыщая волнением осеннюю прозрачность.

Последняя муха жужжала в комнате, освещенной косым золотым снопом... И это жужжание не пере-

ставало ни на минуту и тянулось все в одном тоне, без перерыва.

Только место менялось. От одного окна перелетала она к другому; то билась о потолок, то о стекло книжного шкапа. Бывают такие мухи осенью.

Живой человек, быть может, не вынес бы этого неугомонного, зудящего звона. Но Борисоглебский лежал на столе и ему было все равно.

Воздух спирался и засыпал.

Х

Тут был и похоронный катафалк и испытые, рябые, дурно пахнущие люди в черных кафтанах, перевязанных белыми кушаками, в нечищенных сапогах и резиновых калошах, и бледные маленькие певчие, и равнодушный заикающийся дьякон: весь унылый, ненужный и истасканный обиход.

Вот повезли катафалк с гробом; за гробом шла женщина, поднимая юбки от пыли... Она забыла застегнуть один башмак, и кожаные лопасти трепались... А заплаканные глаза не замечали этого.

Было и дальше... Все это лишнее и относится к категории вещей горьких и ненужных — может быть, даже оскорбительных. Оставим эту тему похоронным бюро. А когда я умру, предайте мое тело земле, но сделайте это ночью и втайне, чтобы не оскорблять Великой Матери — Жизни.

Небо нахмурилось и изрешетилось. Мелкий дождик посыпался частой сеткой. Кончились пурпурные зо-

лотисто-желтые, задумчиво-сонные деньки. Наступала октябрьская гниль и серость.

XI

Когда в следующую субботу, в семь часов вечера, пришел Козьмодемьянский, он не сразу был понят глухой кухаркой. Наконец она отвечала: «Вчерашний день барина свезли на кладбище».

И отвела вылинявшие глаза.

Козьмодемьянский ушел, унося оттиск в кармане.

Наткнувшись, чуть не опрокинул он лестницу, приклоненную к фонарю. На него заорал фонащик. Он ковырял в фонаре, и пятерня его копошилась на скользкой мостовой, подобно огромному спруту.

Козьмодемьянский бродил по улицам, подбирая изморось на пальто и фуражку.

Наконец, проходя мимо, завернул под памятный, гостеприимный кров Шарля Омона.

Было уже за двенадцать. Дивертисмент кончался. Мулатские мисс, ухарски взвизгивая, отхватывали последний кек-уок. В воздухе мелькали огненные панталоны и черные подвязки.

Понадобилось взять отдельный кабинет, чтобы в обществе четырех стен залить расплавленный свинец, евший сердце.

Стрелки часов бежали...

С громом и звоном посыпались осколки в соседнем кабинете. Это известный Петр Дебелев расшиб

зеркало, метнув в него бутылкой из-под шампанского.

Козьмодемьянский же не обращал внимания, куда не сказали, что пора.

У выхода смотрел на его нетвердые шаги зевающий околоточный; но Козьмодемьянский скоро затерялся в ночной темноте.

ХII

О, неумирающий носитель неумирающей красоты, о, сама неумирающая красота! Оглянись, посмотри, оглянись на меня, пробегая, быстро пробегая, белоногий, пробегающий на белых ногах. Я умираю от любви, от любви к тебе, умираю от любовной жажды; я люблю тебя, жажду тебя и любовь моя жаждет тебя, а она — неумирающая. Долго и напрасно искал я красоту, искал идол, кому я мог бы поклоняться; женщину хотел я возвести на пьедестал; увы, обманчивы они, притворны, и глаза их струят обманы, и лживо дыхание речей их. Пустынна душа их, суха и немощна; бесильно желание их; это — как призрак, что витает сумеречной порой над лагуной, издающей нездоровые испарения; это — как иссохший и колючий кустарник, выросший на почве Аргоса, сожженного губительными стрелами июльских лучей. Ты же мудр и прекрасен лицом и телом; ты глубок и искусен в упражнениях духа твоего, и веяние тайн родственно тебе, и высоты и глубины доступны познанию твоему. Строен ты и гармоничен; мощно желание твое, и кротость

твоя мягка и ласкающа, как кротость молодой антилопы, и яростен гнев твой, как гнев льва. Хищен ты, но обилен любовью; улыбка твоя лазурна, смех твой разгоняет облака, веселье твое двигает вершины гор, и ярость твоя колеблет пространное небо. Я люблю тебя, остановись, пролетающий на белых крыльях, остановись, белокрылая птица; я люблю тебя, остановись, я жажду видеть тебя. В тебе сочеталось все, что манит меня, все, что, не умолкая, зовет алчущий дух мой, все, чем неудержимо и вечно влечется желание мое; неудержимо влечение, жизнь поглощена им. Жизнь, остановись, не продолжай течение свое: я нашел его, я нашел моего бога белоногого, белокрылую птицу; в нем все, чего жажду я искони. Я люблю его, я стораю любовью, растворяюсь в желании, я истаиваю в любви моей, я люблю, я люблю тебя, белокрылый, ибо силен дух твой, и прекрасно лицо твое, и ляжки твои округлы, и изящен голос твой, и взгляд очей твоих — ласкающий.

Об авторе



Алексей Иосифович Бачинский родился в 1877 г. в Холме (Люблинской губ.) в семье учителя математики; его отец, украинец, переселился в Россию из Австро-Венгрии. В 1895 г. окончил с золотой медалью холмскую гимназию и поступил на математическое отделение физико-математического факультета Московского университета.

По окончании университета в 1899 г. Бачинский был оставлен при кафедре физики и в 1900 г. опубликовал первые работы. В 1901 г. был командирован в Геттинген. В 1907 г. был утвержден приват-доцентом Московского университета. В 1900-х-1910-х гг. также преподавал в гимназиях, писал статьи для энциклопедического словаря «Гранат».

В 1900-х гг. Бачинский сблизился с кружком московских символистов, группировавшихся вокруг издательства «Гриф», и Г. Г. Шпетом. В 1905 г. выпустил поэму в прозе «Облака»; критики отмечали ее сходство с «симфониями» А. Белого («физик Бачинский вдруг выпустил книжечку “Облака”, подражающую симфонии Белого: под псевдонимом “Жагадис”» – отмечал в «Воспоминаниях о Блоке» сам Белый).

С 1906 г. выступал со стихами, литературно-публицистическими статьями и рецензиями в журналах «Золотое руно» и «Перевал», газ.; позднее публиковался также в «Русской мысли» (научно-популярные статьи) и других периодических изданиях.

С 1918 г. Бачинский состоял профессором физики МГУ, опубликовал в общей сложности более 60 научных трудов, основные из которых посвящены вопросам молекулярной физики и термодинамики, в частности изучению поверхностного натяжения и вязкости жидкостей; еще в 1912 г. он вывел закон вязкости жидкости («закон Бачинского»).

С 1920-х гг. много занимался вопросами преподавания физики, составил ряд задачникoв, учебников и учебных пособий для средней школы. В 1926-1931 гг. состоял научным редактором «Рабочей школьной библиотеки», включавшей книги по физике и технике.

В 1930 г. в результате тяжелой болезни Бачинский потерял зрение, однако с помощью дочери продолжал научную работу и составление учебников вплоть до своей кончины в 1944 г.



Поэма «Облака» публикуется по первоизданию (М.: «Скорпион», 1905) с исправлением ряда устаревших особенностей орфографии и пунктуации. В оформлении обложки использована обложка оригинального издания работы Н. Феофилактова.

Scriptorium



Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.